

**Н**ет, заголовок этот не мной придуман. Но известен он мне еще с той поры, когда я учился в школе и потихонечку занимался версификаторством — писал стихи типа «Выдь на Обь, чей там смех раздаётся...» Ну, совсем не по-некрасовски! Наоборот: это, мол, только в те давние некрасовские времена стон и плач доносились с Волги, а сегодня — особенно у нас на Оби — другая жизнь и песни другие...

И в самом деле, мы, мальчишки послевоенных (конца сороковых и начала пятидесятих) годов, несмотря ни на что, были решительными оптимистами, уверенными в том, что не природа нами управляет, а мы должны ею управлять. Только так! А стихи? В какой-то момент я к ним охладел и перешел на прозу. Толчком же к столь резкой смене моих литературных пристрастий послужил совершенно будничным случаем. Однажды кто-то из наших одноклассников (не помню кто и по какому поводу) принес газету «Сталинская смена» — и она пошла по рукам, с парты на парту. Дошел черед и до меня, и я,

развернув заманчиво шелестящие полосы краевой «молодежки», вдруг замер, увидев на третьей странице крупный и не шрифтовой даже, а рисованный заголовок: «Мы живем на Алтае». Однако изумил и тронул меня не сам по себе рисунок, а какая-то необыкновенная магия, певучая теплота этих четырех завораживающе коротких и звучных слов. Хотелось повторять их и повторять, как припев: «Мы живем на Алтае... Мы живем на Алтае!» — то был отрывок из повести Николая Дворцова. И я, что называется, единым духом прочитал его, удивляясь тому, что герой этой повести Валерка, задумав побег на строительство Сталинградской ГЭС, такой же неисправимый романтик и оптимист, как и почти все мальчишки той далекой послевоенной поры...

Вот так впервые открыл я для себя имя алтайского прозаика Николая Дворцова и поставил его рядом с чуть раньше открытым поэтом Иваном Фроловым, стихи которого о Кулунде поражали своей поэтической глубиной и конкретностью:

Вдоль степного  
Равнинного диска —  
Поезда к колесу колесо.  
В грузных «пульманах» —  
Хлеб кулундинский,  
На платформах —  
Бурлинская соль.  
А с токов люди машут и машут,  
Провожая свои поезда:  
— Это к Родине, матери нашей,  
С хлебом-солью идет Кулунда!

Все это, как мне кажется, и сближало, роднило Ивана Фролова и Николая Дворцова, зачинателей алтайской послевоенной литературы, — проникновенное и прямо-таки «хлебосольское» отношение к великой и малой родине, к той земле, на которой жили и работали герои их произведений... Тогда все начиналось с нуля. Так, весной 1951 года была создана краевая писательская организация — и первым ее руководителем стал Иван Ефимович Фролов, кстати сказать, единственный в ту пору на Алтае член Сою-

за писателей. Вторым будет принят в писательский Союз прозаик Николай Дворцов, но это случится гораздо позже...

И в том же далеком, пятьдесят первом, уже распрощавшись со школой, махнул я в Барнаул, работал сверловщиком на вагоноремонтном заводе, а в октябре был призван на флот, что больше меня удивляло, чем радовало. Морем никогда я не грезил, а все помыслы свои так или иначе связывал с литературой... Да и срок службы морской казался излишне долгим — пять лет! Однако, скажу сразу, служба на Тихоокеанском флоте оказалась для меня невиданно интересной и счастливой. Судите сами. Почти год служил и учился в Школе оружия на Русском острове — ковали из нас артэлектриков ПУС (приборов управления стрельбой), времени свободного мизер, но, как ни странно, именно тогда и в тех условиях курсантской службы окрепло и обострилось во мне желание — писать! Там, на Русском острове, и сочинил первый свой рассказ. И вскоре отнес его в редакцию многотиражной газеты Учебного отряда (на Русском острове, кроме Школы оружия, размещалось еще три школы: Механическая, Объединенная и Школа связи — вот они-то, все вместе, и составляли Учебный отряд Тихоокеанского флота). Редакцию же означенной газеты представлял, в сущности, один человек, лейтенант Волков. Он и взял у меня из рук в руки рассказ «Соперники», главный герой которого повадками и характером очень смахивал на Валерку из повести Николая Дворцова «Мы живем на Алтае». Да и событийная часть рассказа проистекала не на побережье Японского моря, а далеко отсюда, на земле алтайской... Рассказ был опубликован в многотиражке на Русском острове. Думаю, с этого момента и пошло все своим чередом.

После окончания Школы оружия попал я на вспомогательный корабль, бывший японский эскортный эсминец «Хацудзакура» (полученный в 1947 году по репарации), обезоруженный, лишенный прежнего статуса, даже имени своего и служивший теперь, как ехидничали матросы, под номером 26 на побегушках в первой эскадре Тихоокеанского флота. Здесь, на этом вспомогателе, будучи комсоргом корабля и имея уйму свободного времени, и начал я серьезно и много писать и печататься, наладив самые добрые и тесные отношения с главной (формата «Правды», как говорили тогда) газетой Тихоокеанского флота «Боевая вахта».

На бывшем «Хацудзакуре» прослужил я чуть больше года. А летом пятьдесят третьего неожиданно был переведен на флагманский крейсер «Каганович» и назначен ответственным секретарем корабельной многотиражки «Вперед». И здесь уже оставался до конца службы, занимаясь любимым делом. Ждал приказа о демобилизации. Сверхсрочная служба не входила в мои планы — об этом я и думать не хотел. Только домой, на Алтай... «Мы живем на Алтае!» — посмеивался про себя, удивляясь: столько лет прошло, а прозаик Дворцов не забыт и название повести его врезалось в память. Других алтайских писателей, кроме Фролова и Дворцова, я пока не знал. Разумеется, не знал и того, что за время моей службы Николай Дворцов издал три или четыре книги и совсем недавно был принят в Союз писателей — выходит, и для него 1955 год стал знаковым. Но мне тогда и в голову не приходило, что буквально каких-нибудь полгода спустя мы с Николаем Григорьевичем встретимся, познакомимся, сдружимся и почти тридцать лет будем жить и работать рядом.

Вот с таким багажом, отслужив больше четырех лет (срок службы морской к тому времени сократили на целый год), вернулся я на Алтай. И в какой-то момент ощутил пустоту под собою — уплыла из-под ног надежная палуба крейсера, никакой опоры... А что дальше? Флот вручил мне хороший карт-бланш: вот, мол, мы сделали для тебя все, что могли, а теперь действуй сам... но придется все начинать с чистого листа.

Одно знал твердо: работать буду только в газете! Но где, в какой газете? Считал, есть два варианта: либо заводская многотиражка, либо одна из «районок», которых в крае шестьдесят с гаком. «Выбирай любую!» — так сказали мне в секторе печати крайкома партии (где сходились, что называется, все нити печатных изданий края), предложив хорошенько подумать, выбрать район — и через три дня дать конкретный ответ. Однако, поразмыслив, решил я попробовать другой, самый в то время, казалось, заманчивый для меня, но почти безнадежный и недостижимый вариант. Собрался с духом и отправился однажды на улицу Горького, 39, в редакцию краевой молодежной газеты «Сталинская смена», да, да, той самой газеты, в которой когда-то, еще будучи школьником, прочитал отрывок из повести Николая Дворцова «Мы жи-

вем на Алтае» и твердо решил: перехожу на прозу! Вот в эту газету и явился я в декабре пятьдесят пятого и (после месячного испытательного срока) остался в ней и прослужил верой и правдой ровно шесть лет. А начинал я свою «молодежную» карьеру, когда работала там целая команда ленинградских молодых журналистов (приехавших «осваивать целину»), остроязыких, независимых, отлично владевших словом, как мне казалось тогда, — Виктор Головинский, Роза Копылова, Глеб Горышин, Олег Петров, Борис Сергуненков...

Помню, мы с Головинским сидели в одной из угловых комнат, смежной с другой, совсем крохотной боковушкой, типа приемной, через которую мы и проникали в свой довольно просторный и светлый, с двумя большими окнами кабинет. Кроме трех рабочих столов, у нас еще в простенке, ближе к двери, помещался громоздкий, изрядно просиженный и потертый кожмитовый диван, с вальяжно откинутой спинкой. Кажется, это был единственный диван в редакции и стоял он здесь по той простой причине, что кабинет угловой был самым просторным. Потому и любили заглядывать к нам коллеги из других отделов, урвут свободную минутку — и тут как тут, бух на диван, и пошли разговоры, нередко бывали и неожиданные гости. Так, я впервые увидел Льва Квина, повесть которого «Экспресс следует в Будапешт», недавно изданная в Барнауле, была тогда на слуху, забегал Виктор Попов, горластый, насмешливо-ехидный, о нем я мало что знал, заглядывал иногда Борис Кауров, невысокий крепыш, добряк, поэт божьей милостью, прошедший войну, с ним мы подружимся крепко, а его сжатое, как пружина, восьмистишие под названием «Новичку» я бы и сегодня, в XXI веке, включил во все российские школьные хрестоматии:

Как положено по уставу,  
я сдаю тебе этот пост:  
флаг из шёлка и берег правый,  
белый камень и восемь берёз.  
Вот и всё. Можешь слову верить.  
Только помни: не флаг на столбе,  
не берёзы, не камень, не берег, —  
я Россию вверяю тебе.

Вот и все! И других слов здесь не надо.

А диван в кабинете нашем исправно служил, не теряя своего назначения, хотя нас это не очень-то радовало — гости чаще не развлекали, а отвлекали, мешая работать... Но что любопытно: соседи наши, из боковушки, никогда к нам не заходили. А их было двое: редакционный художник Степан Иванович Савчук и литконсультант, широко в то время известный на Алтае поэт Иван Фролов. Однако Иван Ефимович появлялся нечасто, у него был свой распорядок, иногда он по нескольку дней не заглядывал вовсе; потом приходил, усаживался за стол, доставал из выдвижного ящика какие-то бумаги, рукописи и углублялся в работу, наверстывая упущенное... Никогда я не видел, чтобы Фролов бездельно слонялся по редакции, это было исключено. Приходил, делал свое дело — и ускользал незаметно. Потому и встречались мы все реже, реже и как бы случайно. Встретимся, вежливо поздороваемся — и никаких вопросов, разговоров. Так и осталось между нами какое-то отчужденное пространство — не нашли общего языка. Впрочем, у Фролова в то время была такая полоса в жизни, такая непроглядно-черная полоса, когда человек и сам с собою не ладит...

А вот знакомство с Дворцовым — совсем другой коленкор. Но случилось это уже после того, как распалась вдруг, казалось, крепко спаянная пятерка ленинградцев — Виктор Головинский уйдет с геологами в Саяны и там навсегда останется, погибнув где-то в дебрях сибирской тайги, Горышин и Сергуненков вернуться в родной Питер (оба станут хорошими прозаиками), а Петров переедет в Новосибирск...

Вот тогда-то, весной 1956-го, кадровый кризис порядком потрянул молодежную газету — срочно требовались замены да по возможности равноценные; а ко всему вдобавок (после прошедшего в феврале XX съезда партии, на котором Никита Хрущёв развенчал «культ Сталина») поступило строгое указание — название газеты изменить! Ну, это дело нехитрое — и вскоре вместо «Сталинской смены» начала выходить «Молодежь Алтая». Попутно и редактора заменили — перестройка пошла полным ходом, новая метла, как говорится, чище метет. Кабинет ответсекретаря занял уже упоминавшийся Виктор Попов, шумный, колготной и всезнающий, дверь у него всегда нараспашку — входи без стука... Пополни-

лась редакция двумя молодыми сотрудниками — Слава Штыров, насколько мне помнится, выпускник Свердловского университета, и Валентин Криволапов, бывший, как и я, моряк, поэт, стихи его вскоре украсят «Молодежку». И в это же время появился новый заместитель редактора, Николай Григорьевич Дворцов, человек, в отличие от Попова, сдержанный, обстоятельный и добрейший — это у него и на лице было написано. Он как-то сразу, естественно и без малейшей раскочки влился в коллектив и безоговорочно стал с в о и м.

Не могу сказать, что наши отношения с Николаем Григорьевичем по-особому складывались и выделялись, этого не было и не могло быть — тогда ничто еще, в сущности, нас не связывало. И Дворцов, полагаю, смотрел на меня и относился ко мне точно так же, как относился он ко всем остальным сотрудникам редакции — одинаково ровно и дружелюбно, не выделяя кого-то особо; а что касается нашей встречи и знакомства нашего именно здесь, в редакции краевой «молодежки», думаю, совпадение это случайное да и посылы к тому были разные. Мое здесь присутствие продиктовано острой необходимостью — утвердиться в газете, набить руку, найти свою стежку-дорожку и, если хотите, выйти к большим темам и замыслам, что для Николая Григорьевича было этапом уже пройденным: «утверждаться» в газете ему незачем, и руку набил он к тому времени основательно. Как раз в том же 1956 году вышла у него пятая по счету книга повестей, он так ее и озаглавил: «Повести». И, как мне казалось, дал себе передышку, решив поработать в газете... Ошибался я тогда.

Но теперь-то знаю доподлинно и могу подтвердить, что именно тогда, будучи заместителем редактора молодежной газеты, Николай Григорьевич работал без передышки, завершая вчерне рукопись первого своего романа «Дороги в горах», а еще ж и набело надо было переписать, очистить текст от всевозможных охвостьев и сорняков... Работа адова! — как говорил поэт.

И тем не менее, насколько помнится, Дворцов и в то время выглядел бодрым, подтянутым и аккуратным предельно — утром как штык являлся на службу, не позволяя себе самой малейшей расхлябанности, по его утренним явкам в редакцию можно было сверять часы. Однако сказать, что Дворцов сиднем сидел толь-

ко в редакции, тоже нельзя, не отлынивал он и от командировок, нередко выскакивал на денек-другой в какой-нибудь ближний, а то и отдаленный район — и пустым никогда не возвращался: проблем и различных тем в любом районе хватало. Так что командировки для газетчика — привычное дело.

Однажды столкнулись мы в узеньком редакционном коридорчике, и Николай Григорьевич, пожав мне руку, воскликнул шутливо: «Ну, вот, на ловца и зверь бежит! А я как раз пошел тебя разыскивать». Будто мы не в редакции находились, а где-то в лесу. «Есть предложение, — сказал он потише, но с еще большей загадкой. — Зайдем ко мне, — кивнул на дверь своего малюсенького кабинета, мы зашли, и Николай Григорьевич, не садясь за стол, а стоя рядом со мной, коротко изложил суть предложения: — Ну, ты знаешь, конечно, что в крае началась уборка озимых, — сказал он. — А заодно и вовсю еще продолжается заготовка кормов — пора жаркая и ответственная. Вот это и надо хорошо показать и рассказать об этом в большом и добротном репортаже, а может, и не в одном... Проедем по двум-трем самым хлебным районам, — весомо добавил. — Маршрут сам напрашивается: Пospelиха — Шипуново — Алейск. Ну, что скажешь?» — «По-моему, интересный маршрут», — осторожно похвалил я, не во всем еще до конца разобравшись. «Вот и готовься! Отправимся завтра», — распорядился Николай Григорьевич. «На поезде?» — уточнил я. «Нет, поедем на машине. Миша уже знает и готовит свой «танк». А ты зайди в бухгалтерию, — подсказал, — и получи командировочные. И с Мишей договоритесь... Утречком пораньше завернете ко мне — и покатым по холодку. Действуй, — и бросил вдогонку, когда одной ногой я ступил уже за порог: — Да, кстати, вместе с нами поедет еще один человек. Геннадий Гоц, знаешь такого?» Нет, такого я не знал. «Ну, как же так?! — нарочито удивился Дворцов и вроде даже расстроился, изобразив на лице огорчение. — Это же инструктор ЦК комсомола. Между прочим, Геннадий Сидорович Гоц — куратор всего нашего юго-западного околотка, очень важная птица. Его и в Новосибирске знают... — добавил пугающе и, засмеявшись, успокоил меня: — Да ты не горюй, по дороге познакомитесь. Не так уж страшен черт...»

Именно так все и вышло. Геннадий Сидорович Гоц вовсе не «чертом» оказался, а вполне живым и добрым малым, примерно моего возраста. Потому и познакомились мы без всяких величаний и сразу же, не стовариваясь, уместились на заднем сиденье, охотно уступив переднее кресло, рядом с водителем, Николаю Григорьевичу. Все, как положено, по старшинству: командир впереди! — дружно определились мы и неизменно придерживались этой диспозиции.

Поездка наша была не только полезной, но и развеселой, надо сказать. Выдавший виды редакционный ГАЗ-69 (под водительством Миши Воротникова) за три дня исколесил немало дорог, а случалось, одолевал и бездорожья; побывали мы, как и намечали, во многих шипуновских, поспелихинских и алейских совхозах и колхозах, встречались с людьми самыми разными — агрономами и механизаторами, парторганами, комсоргами и животноводами, руководителями крупных и мелких хозяйств... и непременно заглядывали в райкомы комсомола, где инструктор ЦК ВЛКСМ и куратор юго-западной сибирской зоны Геннадий Сидорович Гоц чувствовал себя, что рыба в воде, атмосфера ему знакомая...

Впрочем, он и на воде отменно держался — нырял и плавал на совесть. Это мы вскоре увидим. Погода стояла горячая — лето достигло вершины! Да и наездились мы в тот день изрядно. И Николай Григорьевич (видать, немоготу стало от жары) вдруг предложил: «Ну что, братцы, не сделать ли нам привал? Заодно и в речке поплещемся». Вдох оживления был ответом. А Миша разом воспрянул и ждать повторных указаний не стал, круто повернул газик и погнал к Алею, бурча себе под нос: «Сейчас я покажу вам шикарное местечко, сейчас... Райским уголком называется».

Водная гладь Алея совсем уже близко придвинулась и блестяла заманчиво, как бы плаваясь под солнцем. Лихо развернув машину и поставив правым бортом к реке, Миша мягко притормозил и, распахнув дверцу, весело скомандовал: «Взвод, в ружье!» Нас, как ветром, вынесло из брезентовой духоты. От близкой реки тянуло свежестью. Кто-то из нас даже присвистнул в предвкушении манящего удовольствия...

Николай Григорьевич не спеша снял взмокшую на спине рубашку, кинул на приоткрытую дверцу газика, прошел вдоль бе-

рега, тотчас повернул обратно — слева зеленели густые заросли тальника, а еще ниже пологий скат длинной грядой сбегал к самой воде, бугрясь желто-серыми песчаными дюнами. «Насчет райского уголка, похоже, Миша загнул малость, — сказал Николай Григорьевич, посмеиваясь, — но в общем вполне удобное место... Вполне».

А мы уже наготове. Наш «куратор» мигом облюбовал бугор, трамплином нависавший над водой, и стоял на нем, как на пьедестале. «Осторожно, Геннадий Сидорович! Не упади», — предупредил Миша, явно насмешничая. «Не робей, Миша, жду тебя на том берегу», — весело отозвался Гоц и, оттолкнувшись всем корпусом, прынул с двухметровой высоты этакой ласточкой — вода почти без всплеска скрыла его и долго не отпускала, нет его, нет и нет... мы уже забеспокоились, когда, наконец, он вынырнул далеко у противоположного берега и призывно помахал рукой.

Миша, видать, задетый за живое, решительно и без малейшего промедления ринулся с того же бугра в алейскую воду — и долго его не было видно. Однако как ни старался, но всплыл он гораздо ближе, чем по-боевому настроенный в этот день комсомольский куратор.

Мы же с Николаем Григорьевичем, зная свои возможности, и вовсе не вмешивались в столь недоступное нам подводное состязание — вошли в реку, окунулись раз-другой и спокойно поплыли к тому берегу, где Миша Воротников и Геннадий Гоц, завершив свои первые заплывы, стояли рядышком по пояс в воде и дружески живо о чем-то беседовали...

«Молодец, Миша, — похвалил Дворцов, когда мы приблизились к ним. И тут же сменил тон: — Но все же не дотянул ты малость... Слабо, что ли?» — вдруг начал подзуживать. «Так это всего лишь пробный заплыв, Николай Григорьевич», — вывернулся Миша. «Пробный? — недоверчиво переспросил Дворцов. — А что, будут еще заплывы решающие?» — «Лично я не против, — уже придя в себя, самонадеянно заявил Миша. — А вот как мои соперники, не знаю...» — глянул на Гоца. Тот слушал, посмеиваясь. «Ну, и что скажут соперники?» — обратился к нему Дворцов. «Коли вызов есть, придется его принять, — ответил Гоц, как бы вступая в некую игру. — Просим секундантов объявить условия нашей дуэли...»

Мне тоже все это показалось тогда разлюли малиной — и я вмиг загорелся сыграть роль секунданта. Не забывайте, мы были молоды: самому старшему из нас четверых, Николаю Григорьевичу Дворцову, было в то время лишь тридцать девять, а самый младший отпраздновал накануне четверть века... «Боже, как время летит!» — горевал он, тут же забывая о своем возрасте. Итак, нас, действующих лиц, в том игровом эпизоде, было четверо — два дуэлянта в лице отважного нашего шофера Миши Воротникова да славного парня, инструктора ЦК ВЛКСМ, куратора всесибирского Геннадия Гоца, не захотевшего барином прокатиться по Алтаю на крайкомовской «Волге» (как и положено ему по статусу), предпочтя пресловутому сибаритству не столь мягкую поездку под горячим брезентом редакционного газика; и два строгих секунданта, скажем так, роль которых выпала нам с Николаем Григорьевичем. Впрочем, больших трудов это не стоило — никаких шагов отмерять не надо, заряжать пистолеты не наше дело, да они и не предусмотрены. Условие лишь одно: два подводника-дуэлянта выходят, как и положено, на старт, и по команде: «Внимание! Марш!» — ныряют и уходят на дистанцию, кто дальше уплывет под водой, тот и победитель.

Все так и проделали. Миша с Геннадием стартовали с левого берега. А мы с Дворцовым, накупавшись, сидим на горячем песочке более высокого правобережья и созерцаем сверху пока что безлюдную поверхность Алея — где-то в его глубине состязаются наши непримиримые дуэлянты... Кто победит?

Но тут, как мне кажется, и загодя все очевидно. Геннадий Гоц не мастер спорта, но близок к этому, пловец высшего разряда, профессионал, а Миша сплошной любитель, хотя и ловкий, упорный, хитрый... Мне, вообще-то, непонятно, зачем он ввязался в соперничество с Гоцем? Ведь все было ясно уже после первого заплыва — силы неравны!

Говорю об этом Дворцову, он загадочно посмеивается: «Так ты же сам сказал: Миша ловкий, Миша хитрый... Посмотрим». Ну что ж, поглядим. Прошло всего лишь несколько секунд. И вдруг Миша, вынырнув, помаечил нам выразительно, ладонью губы прикрыв, дескать, молчите, ни гугу, потом разберемся... И наддал саженками к берегу, размахивая руками, как веслами. А Гоц все еще не показывался. И Миша, чувствуя, наверное, что пора пря-

тать концы в воду, спокойненько погрузился, уйдя с глаз... В это время и появился Гоц, выскочив из воды, как черт из табакерки, и стал оглядываться, туда и сюда, ничего не понимая... где Миша? Наконец, и Миша всплыл, чуть ли не уткнувшись головой в берег, обойдя Гоца метра на три... Невероятно! Они стояли друг против друга в воде — обескураженный Гоц и ликующе сдержанный хитрец Миша, ситуация, в общем-то, нам понятная — начался розыгрыш. И Миша здесь задавал тон, исполняя роль «победителя». И хотя исход любого розыгрыша известен: поставить жертву розыгрыша в ситуацию ложную и неприятную, покуражиться, насладившись донельзя растерянным и подавленным, а то и вовсе убитым видом того, кто оказался в ловушке, а потом торжествующе весело и даже беспечно объявить, что это всего лишь шутка — и посмеяться вдоволь и сообща.

Вот и сейчас назревал такой же исход. Но что-то затягивалось... И мы, секунданты, а вернее сказать, соглядатаи, втянутые в эту игру и видевшие всю картину со стороны, едва сдерживали смех. «Ну что, Геннадий Сидорович, признаешь свое поражение?» — спросил Дворцов, как бы подталкивая к развязке, смех душил его изнутри. «Нет, Николай Григорьевич, не признаю, — довольно спокойно ответил Гоц, видать, заподозрив некий подвох. И коротко пояснил: — Многовато неясностей. И шибко попахивает химией... Придется повторить заплыв», — это он уже к Мише обратился. А Миша, на удивленье, оказался стоворчивым, не кочевряжился, сразу же согласился: «Нет проблем». Но и второй заплыв ничего не изменил. Все повторилось, что называется, один к одному — Миша тем же манером обошел Гоца и вроде поставил точку. Однако на этот раз Гоц проявил еще большую решимость. «Нет, Миша, — сказал он твердо, — поставим точку только после третьего заплыва. Так будет вернее», — похоже, теперь он не просто подозревал, но и догадывался, а может, и догадался уже, где тут сокрыта «химия», потому и стоял на своем. Но этого мы не знали, не могли знать и были уверены — Миша «победит», все к тому шло. Видимо, и Миша в этом не сомневался, способ надежный — дважды вырулил, вырулит и в третий раз. Словом, расслабился, потерял бдительность, излишне захорохорился: «Да мне-то что, третий так третий, по мне хоть пять заплывов», — бухнул с кон-

дача. «Пять не надо, — сказал Гоц, видимо, все уже продумав и намотав себе на ус. — А третий заплыв будет решающим. Договорились?» — словно расставил перед собой невидимые фигуры. Сборы были недолги. «А чего долго шарашиться! — сказал Миша, усмехаясь. — Нищему собраться — только подпоясаться... — и, приложив ладонь к уху, окликнул нас: — Алло, секунданты! Решающий заплыв. Засеките».

И не успели мы глазом моргнуть, как дуэлянты наши — без лишнего шума и плеска — нырнули и в третий раз скрылись под водой, решая одну задачу: кто дальше уйдет — тот и победит! Но каждый из них решал эту задачу по-своему... Прошло несколько секунд, и Миша, будто по чьей-то команде, вынырнул и без всякого роздыха ударил вразмашку по тихой глади Алея к правому берегу, как уже было и в двух предыдущих заплывах, тактика не менялась. «Ну Миша, ну и хлюст», — слегка вразмяжку и таким тоном проговорил Николай Григорьевич, что трудно было понять, чего в его голосе больше — восхищения, порицания или того и другого поровну? Между тем Миша уже вовсю праздновал в душе «победный» финиш своего развеселого розыгрыша, так мне казалось. Однако случилось невероятное — и розыгрыш, как таковой, в полной мере не удался, Мишу изобличили...

Прошли считанные секунды после того, как Миша вынырнул и, работая руками и ногами, воровато заспешил к берегу; и в тот же миг неожиданно появился из воды Геннадий Гоц, великолепный пловец, он разгадал, наверное, хитрые Мишины уловки и решил низвести их к нулю — мощным брассом пошел вдогон, в два счета настиг Мишу, что-то ему сказал и махом уплыл вперед, оставив его далеко позади; а, впрочем, ошарашенный и, что называется, в пух и прах «развенчанный», Миша и не пытался угнаться за ним, он лишь тоскливым взглядом проводил его, лениво перевернулся на спину и тихонько двинулся следом, как бы всем видом своим говоря, что теперь спешить ему некуда и незачем...

Вот в этот момент и подкатил к нашему газику, стоявшему на слегка возвышенном левобережье Алея, пропыленно-серый юркий «москвич», дверцы его враз отворились, и двое мужчин, выйдя из машины, приветственно помахали нам: «Ну, как водичка? — крикнул один из них, уже держа в руках фотоаппарат, и громко

(наверное, чтоб слышали мы) речитативом пропел: — С «лейкой» и с блокнотом, а то и с пулеметом...» — и мы сразу поняли: наш брат, газетчики, но кто, откуда? А он засмеялся и сказал: «Пулеметов у нас нет, а вот «лейка» наготове. Внимание! Прошу не моргать и не двигаться», — и трижды щелкнул затвором.

Оказывается, кем-то уже упрежденные, они знали, кто мы и откуда, хотя и мы в догадке своей не ошиблись: ребята были сотрудниками алейской райгазеты — так что снимки нам гарантировались.

Помню, много лет спустя обнаружил я в своем безалаберном фотоархиве изрядно подзабытую небольшого размера, но четко отпечатанную и хорошо сохранившуюся карточку, где мы запечатлены вчетвером: Миша Воротников и Геннадий Гоц стоят друг против друга по пояс в воде и живо толкуют о чем-то явно веселом (что видно по их лицам и выразительным жестам рук), вероятно, смакуют детали неудачного Мишиного розыгрыша; а чуть поодаль от них, четко схваченные объективом, на бережку, среди песчаных дюн, сидим мы с Дворцовым и, глядя на разгоряченных дуэлянтов, нет, не закатываемся хохотом, но смеемся от всей души.

Позже мне казалось, что не будь этой фотографии, не сохранила бы память столь живое и отчетливое впечатление от нашей поездки. Глянул на снимок — и все как на ладони!

А может, причина не в снимке, а в чем-то другом? Таких поездок за годы газетной работы перебивало не десятки, а сотни, запомнились же лишь единицы и те обрывочно и смутно, как давние сновидения. Но эта поездка (кстати, единственная наша совместная с Дворцовым) оставила в памяти зарубку. Однажды поймал себя на мысли: именно тогда, после той совместной поездки, мы с Николаем Григорьевичем сблизились и впоследствии (на протяжении почти тридцати лет) жили не просто как «соседи по времени», а как близкие люди, относившиеся друг к другу с большим взаимным вниманием, пониманием и, если хотите, даже не дружеским, а неким более глубоким и сокровенным чувством братского доверия... Так что любая фотография была бы тут лишь сбоку припека.

Помню, вернувшись из той веселой командировки, мы с Николаем Григорьевичем, не откладывая в долгий ящик, подготовили большой очерковый репортаж о начале хлебной страды на Алтае, прямо-таки пахнувший, как мне казалось, свежим зерном и полевой

страдой, который срочно был разверстан чуть ли не на весь газетный разворот «Молодежки» и подписан: Н. Дворцов, И. Кудинов.

Не скрываю, мне было приятно такое соавторство — и в душе я немножко гордился. Думаю, Николай Григорьевич, имевший за плечами более солидный жизненный и литературный опыт, относился к этому гораздо проще и спокойнее. Так или иначе, но повторяю, личные отношения наши с той поры заметно потеплели, впоследствии они становились все более доверительными, а то и попросту свойскими.

И ничто, казалось, не могло уже этому помешать.

А вот славный парень, инструктор ЦК ВЛКСМ и куратор сибирский Геннадий Гоц, вернувшись из совместной с нами командировки, как-то враз выпал из нашего круга — и больше мы его не видели. Да это и понятно — у него другой уровень общения, не шибко-то мы и горевали, а потом и вовсе забыли о нем. И вдруг, много лет спустя, совершенно случайно слышу по радио: «Нашим собеседником был известный критик и литературовед Геннадий Сидорович Гоц». «Ничего себе!» — ахнул я, удивленный до крайности, «известный критик», а мы о нем ничего не знали... Неужто это тот самый комсомольский куратор, который так лихо с Мишей Воротниковым, нашим редакционным шофером, наперегонки чуть ли не весь Алей переплывал под водой? А может, нынешний критик тому инструктору комсомольского ЦК всего лишь полный тезка? Ведь и фамилия, имя, отчество — все совпадает...

Не удержался я, снял трубку и позвонил Дворцову. Николай Григорьевич выслушал и спокойно рассудил: «А что, вполне возможно, парень-то он головастый...» — «И как же мы тогда проглядели в нем... критика?» — говорю с явною подковыркой. «Так он же все время был под водой, как ты его разглядишь...» — смеется Дворцов.

Прошло много лет с тех пор, а вспомнишь об этом — и непременно улыбнешься. Пустяк? Но ведь это частичка нашей жизни.

Вот и сегодня (летний вечер, 17-й год XXI века) сижу за ноутбуком и слово за словом пытаюсь воспроизвести в своем, скажем так, мемуарном эссе хотя бы тысячную долю того, что с нами происходило, как работали мы и дружили, ссорились и мирились, помогали друг другу в трудные часы и минуты... Сижу за ноутбуком

и вспоминаю Дворцова в его, может быть, наиболее счастливые и плодотворные годы, включая сюда и нашу совместную работу в газете, и ту неповторимо удачную и незабываемую поездку по самым пшеничным районам края. Впрочем, из газеты Николай Григорьевич вскоре ушел, как он сам говорил, на вольные хлеба. Хотя причина крылась гораздо глубже — наступают моменты, когда газетная и литературная работы становятся несовместимыми. Знаю, именно в ту пору Дворцов, что называется, плотно засел за свой первый роман «Дороги в горах». Он долго и основательно к этому готовился, не раз побывал в Горном Алтае, прошел и проехал многими горными тропами и дорогами, написал большой очерк «В долине Урсула», вышедший пару лет назад отдельной брошюрой в Горно-Алтайском книжном издательстве, что и послужило, как нетрудно догадаться, отправной точкой для будущего романа. Николай Григорьевич и сам не раз говорил, что, де, «урсульский» очерк это всего лишь вешка на пути к более крупной художественной вещи. Вот над этой «вещью» он и работал в ту пору.

Однажды, не помню по какому неотложному поводу, забежал я к Дворцову, жившему тогда где-то в районе многочисленных не то Алтайских, не то Прудских улиц, дом, кажется, был деревянный, с потемневшей тесовой крышей и, разумеется, без всяких особых удобств, что меня вовсе не удивляло — в те послевоенные годы очень многие ютились и не в таких условиях... Но тут ведь речь шла о писателе, которому нужен угол для работы. Впрочем, Николай Григорьевич не жаловался, но признавался: «Тесновато, конечно, семейка растет, а квартира не расширяется». У него было три дочери — две младшие еще дошкольницы, а старшая уже пионерка. Николай Григорьевич оживал, когда разговор касался семьи: «Мне везет на женщин», — говорил он, посмеиваясь. О работе я его не расспрашивал, он сам, провожая меня, как бы вскользь обронил, когда я был уже у двери: «А роман мой, похоже, идет к завершению», — выдохнул, будто гору с плеч свалив, и согнутыми пальцами постучал по косяку, что проделал и я вслед за ним, весело отозвавшись: «Ждем, ждем, Николай Григорьевич, будем читать...»

Дворцов был в хорошем настроении и, как мне казалось, жил в ожидании чего-то еще лучшего. И, надо сказать, 1957 год не об-

манул Николая Григорьевича, действительно став для него знаковым. Роман был закончен и с ходу опубликован в одном из номеров альманаха «Алтай», заняв львиную часть всей площади — больше ста журнальных страниц. Лучшего подарка к своему сорокалетию Николай Григорьевич и желать не мог! Словом, обкатка была удачной. Журнальная публикация — это ж сродни годовым испытаниям нового корабля перед большим плаванием. Так что все шло по плану. И даже сверх плана! В 1959 году роман Николая Дворцова «Дороги в горах» почти одновременно вышел в двух издательствах — Новосибирском и Алтайском. Вообще-то, такие спаренные издания (одной и той же книги одновременно в разных издательствах) строго возбранялись, хотя исключения бывали, конечно. Так или иначе, но дворцовские «Дороги в горах», получив столь весомые преференции, можно сказать, единым махом разошлись по всей Сибири. Позже роман переиздаст популярное в то время столичное издательство «Советская Россия».

Николай Григорьевич сразу же, не переводя духа, как только «Дороги в горах» вышли в свет, засел за новый роман, давно выношенный, мучительно тянувший к себе и не дававший покоя даже во снах, как старая незажившая рана, выстраданный, казалось, не только всем нутром, но и каждой клеточкой задубевшей за три года под холодным норвежским небом собственной кожи.

Потом, в минуты душевной распахнутости, Дворцов признавался, как долго ему не давалось начало: что ни напишет, тут же и вымарает — не то, не то, не то!.. Зажмурил глаза от бессилия — и вдруг все ясно увидел и услышал, как будто само по себе начало, уже давно готовое, легло ему в руки: «Низкое лохматое небо сеяло почти невидимую водяную пыль. Впереди колонны, с боков и сзади — штыки. Сплошной частокол штыков. Мокрая, холодно-синеватая сталь поблескивает с угрожающей ненавистью. Такая же угрожающая ненависть в глазах и на мокрых синеватых лицах конвоиров. Колонна, миновав круглую опрятную площадь, вышла на улицу. Трак, трак, трак, — тарыхтят о скользкую брусчатку деревянные подошвы пантофель...» — перо скользит по бумаге, теперь его не остановить. Позже, когда работа подойдет к завершению, Николай Григорьевич однажды как бы мимоходом,

вскользь обронит: «А пантофели те, что колодки кандалные, иногда в кровь сбивали ноги...» — как будто, работая над романом, он снова надел эти пантофели деревянные и сбил в кровь не только ноги, но и саму душу свою, вновь и вновь переживая то, что было испытано за три года в фашистском концлагере, под сенью неприветливо-скалистых и неудобных берегов Норвежского моря... Вот отсюда и название романа «Море бьется о скалы» — метафора емкая, живая и очевидная.

Роман, в сущности, задуман еще в сорок седьмом (после переезда Дворцова в Барнаул, где жили в то время его мать и брат), но тогда опыта для такой сложной работы явно недоставало и роман был отложен. Вернулся к нему Николай Григорьевич лишь через одиннадцать лет. Столь длительная пауза вполне оправдала себя — и хотя пришлось начинать все с нуля, роман был написан в небывало короткий срок; в конце шестидесятого завершен, тщательно вычитан, а в первой половине 1961 года начались, что называется, «ходовые испытания» — хорошую обкатку роман прошел в двух номерах альманаха «Алтай». А там уже наготове краевое книжное издательство — все шло по графику, как и предусмотрено планом. Пятнадцатого июня роман был сдан в набор, а двадцать второго сентября подписан к печати... Понадобилось всего лишь три с половиной месяца, чтобы подготовить и выпустить в свет 115-тысячным тиражом одну из самых, наверное, горьких и глубоко пострадавших книг Николая Дворцова.

Перед новым 1962 годом роман поступил во все книжные магазины и киоски Союзпечати, разослан был по заявкам во многие города Сибири — однако уже летом того же шестьдесят второго найти его на книжных прилавках было крайне затруднительно, а потом и вовсе невозможно, опустели даже самые потаенные книжные загоашники... И хотя тираж романа «Море бьется о скалы» был довольно большим, можно сказать, сверхмассовым — спрос читательский оказался куда как более значительным, превзойдя все расчеты и ожидания Книготорга. Впрочем, выход из сложившейся ситуации был прост — повторить издание. Такое решение приняли не с кондачка, но очень скоро. Тем более технических сложностей не предвиделось, все на мази, даже старый набор не рассыпан... Запускай печатный станок — и шлепай.

Что и было сделано в 1963 году. Однако и тираж повторного издания не смог насытить книжный рынок — роман «Море бьет-ся о скалы» буквально был сметен с прилавков... И тогда вдогон за вторым изданием последовало третье — в 1964 году.

Кстати, в этом же, 1964-м, в столичном издательстве «Советская Россия» вышел и другой роман Николая Григорьевича — «Дороги в горах». Счастливое совпадение? Мне кажется, не только счастливое, но и закономерное завершение десятилетнего периода — от первой книги «Мы живем на Алтае» и до последних изданий двух романов, как бы завершающих самый, хочется верить, счастливый и плодотворный период творческой жизни и работы писателя Николая Григорьевича Дворцова, ему же в это время исполнилось всего лишь сорок семь — и многие книги его были еще впереди...

Между тем и в мою жизнь именно этот период привнес немалые перемены: в конце 1961 года вышла первая моя книга «Цветы на камнях», а в самом начале 62-го случился неожиданный, но почетный и, разумеется, лестный для меня переход из «Молодежки», в которой прослужил я ровно шесть лет, в «Комсомольскую правду», собственным корреспондентом по Алтайскому краю. Что и говорить, работать в такой газете, как «Комсомолка» шестидесятых годов двадцатого века, — было великой честью и, если хотите, пределом мечтаний для многих журналистов. Не обошло и меня это чувство. Хотя в последнее время все чаще подумывал я о том, что рано или поздно придется сделать выбор: литература или газета? Тащить разом два одинаково тяжелых воза и, тем более, совмещать их, эти «воза», невозможно. Впрочем, для себя выбор я уже сделал, вопрос касался лишь времени, и время это, как мне казалось, пришло. Летом 1963 года журнал «Юность» опубликовал мою первую повесть «Погода завтра изменится». И погода для меня действительно изменилась — вопрос «быть или не быть?» сам по себе отпал, осталось только одно: быть! В том же году на Алтае вышла вторая моя книга. Это, как мне кажется, и положило конец всем моим колебаниям. И в 1964 году, пересилив себя, ушел я из журналистики. Навсегда! Позже я даже отказался от членства в Союзе журналистов, но это не значило, что я хлопнул дверью (с чего бы такой выпад?!), нет, все сделано было по-хороше-

му. А в своем коротеньком заявлении, не кривя душой, написал я, что, де, как литератор обязан, прежде всего, газетам, начиная с корабельной многотиражки «Вперед» и кончая самой любимой и популярной в стране «Комсомольской правдой» — они мне дали гораздо больше, чем я сумел им отдать... Признание это легло на душу — и осталось в душе навсегда.

И вот теперь, когда я был совершенно с в о б о д е н, уйдя, как считалось тогда, на вольные хлеба, вдруг увидел и понял, почувствовал всем нутром, что никаких «вольных хлебов» нет в природе (они лишь в нашем воображении), ибо всякий хлеб насущный добывается только трудом... и трудом нещадным. Иного человеку не дано! Особенно человеку пишущему...

Помню, столкнулись мы как-то с Дворцовым в издательском коридоре, давно не виделись, обрадовались друг другу (во времена собкоровской моей занятости не до того было, а тут на тебе — нос к носу): «Ну, брат, это знак добрый, когда писатели встречаются здесь, в коридорах издательства, — пошутил Николай Григорьевич, крепко встряхивая и пожимая мне руку. — Значит, жди новых книг», — подчеркнуто весело и чуточку иронично подытожил, сощуриваясь и, казалось, просвечиваясь каждой складкой брутально крупного, жесткого и по-мужицки правильного лица. Не сговариваясь, мы прошли в глубину коридора, к окну (насиженный издательский угол для всяких кратких и ни к чему не обязывающих разговоров), прислонились к широкому подоконнику, и Николай Григорьевич, точно угадав мои мысли, спросил: «Ну, как привыкается к полной свободе?» И я в тон ему ответил: «Привыкается легко. А вот как будет отвыкаться...»

Он коротко покивал, пряча ухмылку: «Вот, вот, и я это же хотел сказать. Ты прав, излишняя свобода зачастую мешает нам, — сказал он через секунду, как бы соглашаясь со мной, хотя, кажется, ничего подобного я не утверждал. — Так что иногда такую свободу не грех и укоротить — иначе ничего хорошего не выйдет. Говорю это с оглядкой на свой опыт, — добавил он мягче, будто оправдываясь. И, чуть помешкав, спросил: — Пишется?» «Стараюсь», — слегка скрытничая, чтобы, наверное, не сглазить нынешнюю свою работу, отвечаю. «Новая повесть?» — пытливо поглядывая из-под густых рыжеватых бровей, уточнил Нико-

лай Григорьевич. «Да, тема для меня совершенно новая, — охотно признаюсь, не видя в том большого секрета. — «Городская жизнь» называется, условно, конечно...» — выложил еще одну малость. «Городская жизнь? — повторил Николай Григорьевич, по-моему, без всяких кавычек, имея в виду не название моей повести, а саму жизнь городскую и как бы взвешивая что-то в уме. И тут же сам себе подсказал: — Вот это и есть главное — чтобы работалось хорошо! А городская... деревенская... не в том суть. Кстати, тебе не кажется, что название немножко манерное?» — вдруг он спросил. «Да? — удивленно глянул я на него. — Вы так считаете? Надо подумать, посмотреть...» — озаботился я всерьез. Подмывало спросить Николая Григорьевича: а что же он пишет, над чем сейчас работает? Но что-то помешало, и разговор наш ушел в сторону... Впрочем, вскоре и без того все выяснилось.

Летом 1966 года Николай Григорьевич издал новую повесть «Опасный шаг», в центре которой судьбы, характеры молодых людей, любовь и ненависть, поиски нравственных опор и неизбежные провалы там, где опоры эти были непрочными... Николай Григорьевич очень серьезно относился к этой повести, возлагал на нее большие надежды, считая, что повесть «Опасный шаг» способна помочь молодым людям найти свою дорогу, уберечь их от многих неверных шагов и тяжелых, непоправимых ошибок... Однако позже и сам понял (и жизнь подсказала ему), что ждать и требовать от литературы таких подвигов не стоит — литература не учебное пособие. К тому же лучшие повести Николая Дворцова были еще впереди — такие, скажем, как «Двое в палате», «Святая простота, или Телега семейной жизни» и особенно я бы выделил «Два дня и три ночи»... но это мое личное восприятие.

Ранней весной 1967 года (еще по талому снегу) «телега жизни» Дворцова сделала крутой поворот — и Николай Григорьевич, сам того не чая, возглавил краевую писательскую организацию. Избрали его единогласно. Он был тронут, но внешне спокоен и предельно краток: «Спасибо за доверие. Будем работать вместе», — лапидарность дворцовская, впрочем, другие слова в тот момент, наверное, и не требовались.

Между тем год 67-й и для меня выпал удачным. Этой же весной, ближе к маю, в Союз писателей были приняты разом (можно

сказать, в один присест строгой московской приемной комиссии) три алтайских прозаика — Георгий Егоров, Иван Кудинов и Виктор Попов. Разумеется, первым известил нас об этом и поздравил с отнюдь не будничным событием Николай Григорьевич — он рокотал в трубку низким неспешным голосом и, похоже, радовался доброму случаю больше самих именинников. «Еще бы не радоваться — сразу тройня родилась!» — острили наши молодые и амбициозные поэты, явно завидуя более опытным прозаикам, опередившим их на крутом вираже... А ну-тка, салаги, догоняйте стариков!

А потом «телега» моя сделала и еще один хо-ороший поворот. Осенью того же шестьдесят седьмого уехал я в Москву на Высшие литературные курсы — зачислялись туда исключительно только члены Союза писателей. Прекрасное то было время — молодость, надежды, витание в облаках... и работа, работа, работа — для этого были созданы все условия!..

Два года проскочили незаметно. А летом шестьдесят девятого, вернувшись на Алтай, обнаружил я, что Николай Григорьевич уже вторично избран секретарем писательской организации; он сам об этом при первой нашей встрече как бы мимоходом обронил: «Вот, мотаю уже второй срок, пока ты там в столицах отсиживался... — и разом заглушил нарочито жалобный тон, весело прогудев и пожав мне руку: — Ну, с прибытием! Не хотелось в Москве зацепиться? — на всякий случай поинтересовался, я только головой мотнул. Николай Григорьевич одобрительно тронул меня за плечо: — Правильно! Дома и стены помогают... Ну, а мы тут понемножку подрастаем, — сообщил, как-то незаметно перейдя на деловой лад, — писательская организация недавно пополнилась еще одним членом Союза...» — «Поэт?» — попытался я угадать. «Нет, опять прозаик, — улыбнулся Дворцов, — поэты чуть приотстали. Но настроены по-боевому. А в Союз принят бывалый рассказчик и краевед Пётр Антонович Бородкин...» — продолжал вводить меня в курс повседневной писательской жизни. Новостей накопилось изрядно, всего сразу и не припомнишь. Но самой большой для меня новостью оказалось то, что Дворцов, оставив где-то у черта на куличках свое старое жилище, поселился теперь в самом центре города, на проспекте Ленина, 49... «А ты не знал? Так это ж наискосок от мединститута, тут все под рукой,

удобно... — пояснил он, просветлев лицом, и как-то сразу, легко и живо пригласил: — Заходи в гости. Квартира двадцать первая. Можешь и телефон записать: пять, сорок семь, десять...» — все это, думается, выложил Николай Григорьевич не по простоте душевной, как могло показаться (простаком никогда он не был), скорее от широты душевной, а может, и того больше — от всей души...

Нет, не могу сказать, что был я частым гостем в этом доме, но в случае какой-то необходимости мог забежать и делал это запросто и с большим удовольствием. Тем более, что буквально год спустя после моего возвращения из Москвы мы с женой и маленьким сыном переселились в этот же район, жили на том же проспекте, почти рядом, в пяти минутах ходьбы...

Между тем Николай Григорьевич в тот период довольно серьезно и активно увлекся, как он сам говорил, «конкретикой», написал документальную повесть «Нужны энтузиасты» о недавно умершем знаменитом алтайском садоводе Лисавенко, публиковал очерки о сотрудниках научно-исследовательского института садоводства Сибири, основателем и руководителем которого был и оставался до конца жизни Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Государственной премии, академик Михаил Афанасьевич Лисавенко. Дворцов хорошо знал его, не раз с ним встречался, разговаривал и, похоже, под его влиянием сам обратился в завязанного садовода. Ну, насчет «завязанного садовода», может, слишком сказано. Однако лицом, а точнее сказать, душой к природе Николай Григорьевич явно повернулся — и началом тому стало, как мне кажется, приобретение собственной дачи. Не могу точно сказать, в какую пору это случилось — то ли еще при жизни Лисавенко, то ли несколько позже, когда НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко возглавила ученица и преемница великого садовода Ида Павловна Калинина, изумительная женщина, умница и выдающийся специалист, как не раз и с каким-то особым восторгом превозносил ее Николай Григорьевич. И я однажды, посмеиваясь, сказал ему с шутливым уколom: «Вы о ней так говорите, будто по уши влюблены?» Он ответил спокойно, ничуть не смутившись: «А вот познакомишься с Идой Павловной да общаешься, поговоришь с ней по душам и сам поймешь — в такую женщину не влюбиться нельзя...»

Впрочем, Николай Григорьевич с таким же (а может, и с еще большим) восторгом отзывался и о своей даче, в которую действительно был влюблен. «Домик у нас маленький, — говорил он, — но там и без того простора хватает. Там, на свежем воздухе, как на парном молоке, и телом крепнешь, и душа отдыхает, и всякий сумбур из головы вылетает вон...»

Мне довелось не однажды бывать на этой дачке дворцовой. Помню, как впервые шел я узкими садовыми улками-переулками, держа в уме подсказку Николая Григорьевича («домик у нас маленький»), смотрел налево-направо и удивлялся сплошному однообразию: почти все домики казались один другого меньше, лишь изредка на общем фоне мелькали более или менее солидные строения — массовые же садоводческие застройки в то время строго лимитировались, так что никаких двухэтажек да еще и с резными балконами-лоджиями, а то и с банькой бревенчатой под боком (упаси бог!) не было тогда и в помине, не могло быть.

Но даже и в этом малорослом скопище жалких строений, будто сверху придавленных чьей-то невидимой и могучей рукой, домик Дворцова выглядел невысказанно тесным и крошечным. Открыв дверь входную, я ступил через порог и сразу же оказался в комнате, узенькой и единственной — тут тебе и прихожая, и гостиная, и кабинет, и спальня заодно... Справа от входа, изголовьем к торцевой стене, стоял низенький дощатый топчан, укрытый серым солдатским одеялом, а в противоположном углу того же торца ютился маленький столик, другой мебели я не заметил; а потом и вовсе перестал замечать — не это было главным.

Дышалось тут и вправду легко. Мы вышли из домика, и Николай Григорьевич приостановился, как будто к чему-то прислушиваясь, и тихо сказал: «Вот здесь, батенька, и живу я, роскошествую вместе с друзьями своими жданными и нежданнами...» «Что это за друзья... жданные и нежданные?» — любопытствую. Он посмеивается: «Это я их так называю, крылатых своих друзей... Вон послушай, — приложив палец к губам, насторожил меня. — Молодые скворцы бормочут, переговариваются... Между прочим, скворцы не хуже попугаев умеют подражать человеческим голосам». «Да ну?! — искренне удивляюсь. — Никогда не слышал».

«О, брат, — подхватывает Николай Григорьевич, — скворцы, прямо скажу, народ деловой, работающий, время даром не тратят... не то, что воробьи — у тех вечный базар и шумиха-неразбериха. А вот длиннохвостые трясогузки другой коленкор, культура другая...» — говорит, усмехаясь, и такие подробности о желтых трясогузках выдает — диву даешься.

Нет, таким Дворцова я не знал, а этот Дворцов был для меня открытием. «Вот как природа может образовать и даже в корне изменить человека!» — думалось тогда, под впечатлением той изумительной нашей встречи.

Однако вскоре повернулось так, что эпизод этот дачный оказался лишь куцым и бледным предвестием событий гораздо более значимых. А началось все с телефонного звонка. Звонила Каролина Ивановна Саранча, редактор нашего издательства, и очень просила отрецензировать новую повесть Дворцова. Согласился я без всяких отговорок и колебаний — мне ж и самому интересно было еще в рукописи прочитать повесть Николая Григорьевича, о которой ничего он не говорил, — не принято об этом (суеверие писательское) раньше времени выбалтывать... В тот же день забежал я в издательство, и милейшая Каролина Ивановна из рук в руки передала мне аккуратно вложенный в целлофановый пакет машинописный экземпляр, титульный лист которого хорошо просматривался: «Николай Дворцов. Два дня и три ночи. Повесть». — «Хоп!» — вырвалось у меня. «Что-то не так?» — насторожилась Каролина Ивановна. «Нет, — говорю, — все так. Только вот название повести отсылает к известному роману Фёдора Абрамова «Две зимы и три лета». Вы не находите?» «Нахожу, — как-то неопределенно кивнула Каролина Ивановна. — Но я вас прошу: прочтите повесть — и если у вас останутся эти сомнения, тогда будем советоваться с автором...» — по тону ее ответа было похоже, что на этот счет она, как редактор, имеет свое особое мнение, которого из деликатности и профессионального долга не может и не станет навязывать мне. Все, как и полагается.

Повесть, можно сказать, проглотил я в тот же вечер — и буквально в один присест. Положил перед собой открытую рукопись и невольно улыбнулся, прочтя изначальную фразу: «Домик у меня в саду небольшой, но летом жильцов в нем собирается предоста-

точно, — как будто не повесть я начал читать, а услышал неторопливый и глуховато-низкий голос Дворцова, который и повлек меня за собой, попутно рассказывая: — Сверху, над коньком крыши, — скворцы в своем особняке на шесте, с боков, под застрехами, — воробьи, а в карнизе, над застекленной верандой, — трясогузки...» — говорил он, будто не роняя слова, а нанизывая их, как спелую землянику, на зеленые стебли лесной травы. Ах, какие чудные гирлянды! Казалось, так и пойдет дальше — тишь да гладь, да божья благодать, птичий перепев поутру, дачные труды и душевное равновесие... нет, нет, повесть не лишена этого лирического начала, напротив, пронизана им насквозь; но где-то в глубине вдруг возникает иное течение, более мощное и бурливое, другое начало — и слышен все тот же неторопливый и глуховато-низкий дворцовский голос: «Чайник укрыт для «напрева» полотенцем. Горит, уютно шипя и потрескивая, лампа. Серая толстая бабочка, привлеченная светом, с глупой настойчивостью бьется снаружи в оконное стекло... — кажется, вздыхает, делая паузу, и продолжает: — Беру краюху бородинского хлеба — он успел порядочно зачерстветь, отрезаю ломоть и подношу ко рту. Тонкий запах, такой привычный, повседневный и, может быть, оттого зачастую совсем не ощущаемый, отбрасывает меня в прошлое, в просторы заволжских степей...» — и я, уже не в силах оторваться, оказываюсь в тех же заволжских степях, откуда и начинается нелегкий, подчас ухабистый и тяжкий путь героя (он же и автор) этой повести, которую, кажется, я и не читаю, а вместе с ними проживаю, шестьдесят три машинописных страницы на одном дыхании — повесть маленькая, но замешана круто.

Наутро, едва проснувшись, спешу за стол, чтобы по горячим следам написать свой отзыв-рецензию. И делаю это махом и с большим удовольствием — повесть, безоговорочно, мне понравилась, хотя при желании можно к чему-то придраться, найти «огрехи», но делать этого не хочется. Этим все и сказано: «Повесть Н. Дворцова «Два дня и три ночи» подкупает ясностью содержания, искренностью и неподдельной простотой, чего не хватает иным литературным произведениям. Повесть волнует. Читая ее, как-то невольно забываешь о том, что существует литература, чувствуешь одно: есть жизнь. Сложная, нелегкая

и вместе с тем прекрасная, если ты сумеешь сделать ее таковой. Повесть «Два дня и три ночи» — не исповедь, а скорее размышление. И написана она неторопливо, раздумчиво, автор время от времени как бы останавливается, дает себе возможность осмыслить пройденное. Дворцов намеренно ограничил «сферу действий» своего героя (тот приехал на два выходных дня в свой садик и занимается здесь будничным делом), чтобы показать, сколь глубока и неисчерпаема человеческая душа и сколько доброты, неистребимой силы таится в ней, в душе человеческой. Возможно, я несколько вольно толкую авторский замысел, но это и хорошо, если повесть заставляет по-своему думать и размышлять. Ведь каждый исходит из своего опыта. И еще думаешь, прочитав повесть: как часто в суетной повседневности мы забываем о главном — нам просто не хватает порой времени, возможно, как раз тех «двух дней и трех ночей», чтобы поразмыслить и соизмерить прошлое с настоящим, понять себя. Это — не парадокс. Мы не всегда понимаем себя. И не всегда думаем, умеем думать. И я еще раз подчеркиваю: именно думать, думать заставляет повесть «Два дня и три ночи».

Кстати, название повести не вызывало теперь у меня никаких сомнений — все на своем месте; более того, как мне казалось, без этих «двух дней и трех ночей» повесть во многом лишилась бы своей притягательной сути, а может, и главного стержня, на котором держится вся сюжетная канва... Примерно так пояснил я приятию заголовка, возвращая Каролине Ивановне рукопись Дворцова, подкрепленную более чем одобрительной своей рецензией. Каролина Ивановна улыбнулась и мягко сказала: «Очень рада, что наши мнения совпали».

Вот на столь высокой ноте мы и поставили точку. И вскоре эпизод этот как бы сам по себе отодвинулся, а потом и вовсе выпал из головы — другие дела, заботы нахлынули, жизнь не стоит на месте.

И вдруг — новый поворот! Звонит Николай Григорьевич, поговорили о том о сем, чувствую — заходит с другой стороны: «Знаешь, а я к тебе с просьбой. Ты не будешь возражать, если твою рецензию поставим предисловием к моей книге?» Просьба была неожиданной и я слегка растерялся: «Не пойму, как это можно сде-

лать?» «Очень просто, я ж говорю: поставим твою рецензию вместо предисловия... ну, не всю целиком, а ту часть, где говорится о повести», — отвечает. «Но эта рецензия не для печати, а всего лишь для внутреннего пользования, «закрытая», можно сказать», — пытаюсь отговориться. «А что нам мешает «открыть» ее и напечатать как предисловие? — стоит на своем Николай Григорьевич. — Тем более, что отзыв хорош, меня он тронул — и не потому, что хвалебный, а потому, что сделан по-настоящему хорошо, по-писательски, — добавил многозначительно. — Иначе не стал бы обращаться с такой просьбой. Кстати, и мысль о предисловии не я придумал, Каролина Ивановна подсказала... Как видишь, решение коллективное, — посмеивался в трубку, настроен он был хорошо. — Вот и тебе мой совет: не отрывайся от коллектива, — свел к шутке, но спросил вполне серьезно: — Ну, решили?»

А как иначе! Отношения наши в то время были такими, что не решить этого пустяка мы не могли. Правда, я попытался еще предложить некий компромиссный ход — мол, давайте, Николай Григорьевич, я специально напишу коротенькое предисловие, но он вдруг построжел и заупряился: «Зачем? Пойми, мне интересен и важен первоисточник твоего отзыва, а специально ты напишешь, может, и лучше, но...»

Одним словом, все сделано было так, как и пожелал Николай Григорьевич. Книга его «Два дня и три ночи» открывалась моим коротеньким предисловием, лучше сказать, отрывком из моей «закрытой» рецензии, но, думаю, читателей эти деликатные мелочи вовсе не интересовали.

Вышла книга осенью 1971 года, где-то в конце октября. Заметим: скоропалительно книги в то время не делались, готовились издания (особенно новых произведений) тщательно и довольно длительно — так что к концу года наслоилось немало и других, не менее важных событий; и самое неожиданное из них заключалось в том, что мы с Николаем Григорьевичем поменялись «ролями». Знаю, Дворцову предлагали остаться на третий срок, но он решительно отказался да еще и пошутил: мол, нет-нет, дорогие друзья и недруги, на «сверхсрочную» я не иду. А на отчетно-выборном собрании весной того же семьдесят первого года избрали меня ответсекретарем краевой писательской организации — так

случилось. И Николай Григорьевич первым поздравил меня, крепко тряхнув ладонь, будто из руки в руку передал эстафету.

Скажу одно: перемены эти никак не поколебали наших добрых отношений — ни в ту, ни в другую сторону — все оставалось, как и прежде, а может, чуточку даже и потеплело.

И Панна Ивановна, жена Дворцова (давняя «хозяйка», хранительница нашей организации — бухгалтер, секретарша, кассир и советник по многим вопросам), осталась на своем месте — все пять лет моего секретарства мы с ней проработали душа в душу; и Николай Григорьевич, оставив секретарство, не замкнулся и не ушел в себя, как говорится, нередко заглядывал на Ленина, 8, где в старом казенном здании несколько лет квартировали писатели. Особенно прижились и полюбились затеянные нами еженедельные литературные «вторники», гостями которых были такие замечательные люди, как известный хирург профессор (создатель краевого хирургического общества) Израиль Исаевич Неймарк, знаменитейший в то время алтайский председатель колхоза, Герой Социалистического Труда Илья Яковлевич Шумаков, главный садовод Сибири и нашего края, доктор наук, умнейшая и чудеснейшая Ида Павловна Калинина, в которую, по словам Дворцова, «не влюбиться нельзя»... Встречи с такими людьми были всегда волнующе интересны, полезны, но главное все-таки содержалось в другом: здесь, на литературных «вторниках» (как и на других писательских собраниях, совещаниях и прочих «посиделках»), наши прозаики и поэты могли, что называется, отвести душу — почитать новые стихи, рассказы, поспорить, поговорить, поискать истину...

И так уж повелось, почти все наши собрания-совещания либо начинались, либо завершались выступлениями Володи Сергеева — все зависело от настроения Владимира Андреевича, человека непредсказуемого, дотошного, но порядочного, умного, а по большому счету — добрейшего. Чаще всего выступления его оказывались не по шерсти, как говорится, а против шерсти. Встает Володя и неспешным хриловато-тихим голосом начинает шерстить всех бывших и нынешних литначальников — и поделом иногда...

Однако на том памятном «вторнике», который не только запомнился, но и остался в душе, Владимир Андреевич настроен

был благодушно и говорил не о наших вечных просчетах и недочетах, а всего лишь о характере писателя, который так или иначе отражается на творческом процессе. «Вот представьте, — говорил Владимир Андреевич тихим проникновенным голосом, — театр начинается с вешалки. А писатель?» Кто-то из сидящих рядом подсказывает: «А писатель с гонорара». Но Сергеев пропускает это мимо ушей и продолжает свое: «А писатель начинается с письменного стола... Достаточно взглянуть на письменный стол того или иного писателя — и характер как на ладони. Вот, например, на столе Николая Григорьевича Дворцова всегда лежит словарь Ожегова или Ушакова, а стол Льва Квина завален альбомами и журналами по филателии, у Егорова на самом видном месте хранится измятая бронебойная пуля, с войны...» «А что у тебя на столе, Владимир Андреевич?» — поинтересовался Гена Панов. Сергеев улыбнулся снисходительно и, чуть помедлив, сказал: «Портрет Льва Толстого». Сидевший все это время молча Дворцов разом воспрянул и подал голос: «Володя, а новая рукопись не лежит у тебя на столе? — и, не ожидая ответа, как бы подвел черту: — Вот с этого и начинается писатель...»

Могу твердо сказать: сам же Николай Григорьевич в те годы (семидесятые) работал много и плодотворно — и книги его издавались, в сущности, ежегодно. Убедит вас в этом элементарный список, и я охотно его привожу: 1971 — как уже говорилось, книга «Два дня и три ночи»; 1972 — однотомник «Море бьется о скалы» (роман и повесть «Двое в палате»); 1974 — книга повестей и рассказов «Дважды жить не дано»; 1975 — «Друзья жданные и неожиданные» (Дворцов не был ни рыбаком, ни охотником, но природу любил, а птиц и вовсе боготворил, о них и написал книгу); 1976 — «Августовские ночи» (еще один поклон природе, хотя наряду с этим и глубокие, психологически выверенные рассказы и очерки вошли в сборник); и, наконец, 1977 год, юбилейный однотомник, довольно объемистый, более семисот страниц, под знаковым названием «Река времен» — Дворцову в том году исполнялось шестьдесят, пора строгой зрелости и подведения предварительных итогов. Так и воспринималась эта книга. Да и сам Николай Григорьевич не давал повода иначе думать, выглядел он вполне крепким, бодрым и, казалось, еще на многое

способным. Тогда и в голову не могло придти, что солидный од- нотомник «Река времен» — издание не только юбилейное, но, увы, и последнее прижизненное, хотя впереди было еще почти восемь лет... Но, как ни прискорбно, здесь и обрывалась творческая сте- зя Николая Дворцова.

И если за предыдущие семь лет издал он шесть книг, за этот последний восьмилетний период не вышло у него ни одной строки. Ни единой! Может, в этом была и моя вина? — возник- ли сомнения, я ж видел все воочию. И слишком хорошо помню, как наши добрые многолетние отношения (казалось, ничто и ни- когда их не порушит!) вдруг на глазах у всей писательской орга- низации дали трещину, рухнули и сошли на нет, можно сказать, в одночасье. Многие нам сочувствовали, сожалея о случившемся, а кто-то, вполне возможно, втихую злорадствовал и всячески разжигал конфликт — не без того. Можно было бы и умолчать, не говорить об этом. Но то, что было, то было — из песни слова не выкинешь... А случилось вот что. Николай Григорьевич на- писал очерк об интереснейшем человеке, полном кавалере орде- нов Славы, Герое Социалистического Труда, первом секретаре Шипуновского райкома партии Василии Тимофеевиче Христен- ко и отдал мне из рук в руки: «Посмотри, может, напечатаете», я в то время был главным редактором альманаха «Алтай» — и публицистика, надо сказать, привечалась у нас особо. А тут и тема значительная, и герой — каких поискать. Однако очерк из- рядно был растянут, иные места слабо прописаны, «недопроявле- ны», будто сделаны наспех. Об этом я и сказал Дворцову, ничего не смягчая. Николай Григорьевич согласился: да, да, я и сам это чувствую, очерк не выношен как следует — и в правке нуждается. Договорились, что я его выправлю, со стороны всегда виднее, а правку покажу. «Да, да, — подтвердил он и как бы еще раз на- помнил, — правку ты мне обязательно покажи». Но не получи- лось. Очерк я выправил, а правку показать не сумел. Позвонил Николаю Григорьевичу — дома его не оказалось. Спросил Пан- ну Ивановну, когда он будет, она, помолчав, печально вздохну- ла: «Если бы я знала, — и открылась чуть погодя: — Пятый день уже нет дома». «Пять дней?! — испугался я. — Так его ж искать надо...» «Не надо, — тихо и как-то покорно сказала Панна Ива-

новна, — придет сам... У кого-то из дружков-художников в мастерской отсыпается...»

На всякий случай съездил я и на дачу, но там встретили меня только стрижи, скворцы и трясогузки, «друзья жданные и нежданые», хозяина не было и в помине, исчез Николай Григорьевич на несколько дней — такое случалось с ним в те годы... А время не ждало. Мне через три дня надо быть в Москве, звонили из «Современника», оттуда махну в Елабугу, в шишкинские леса... Так что до отъезда надо было сдать очередной номер «Алтая». А что делать с дворцовским очерком? И я, махнув рукой, заслал рукопись — так хотелось, чтобы очерк «Суть» прошел именно в этом номере. Заслал и вскоре уехал. Так и пошло. Не помню, по какой причине (может, и по моей вине), но и корректуру Николай Григорьевич тоже не вычитал.

А когда альманах вышел — дело было сделано. И Николай Григорьевич, увидев свой очерк, возмутился — правка была значительной. И на первом же писательском собрании обрушился на меня, обвиняя во всех смертных грехах, что было вовсе не похоже на Дворцова: и что, де, я «топчу рукописи, не считаясь с авторами», и что вообще я зазнался в последнее время... Смотрю на него — и не узнаю. И мне даже показалось, что кто-то его подзуживал и науськивал на меня... Но что я мог сказать? Поделом! Я чувствовал свою вину. Надо было все-таки разыскать Дворцова, во всяком случае не ставить очерк в номер, так или иначе упредив автора. Одним словом, вину, скрепя сердце, я взял на себя. И, думаю, правильно сделал! Это как-то смягчило конфликт. Наверное, и сам «конфликт» был бы вскоре исчерпан, сглажен и наши прекрасные отношения с Дворцовым (какими были они всегда) остались бы неразрушенными. Но тут вмешался еще один случай — и все пошло насмарку. Вскоре вышла новая книга Николая Григорьевича (кажется, то были «Августовские ночи»), в которую он включил и этот злополучный очерк. И не просто включил, а включил именно журнальный вариант, со всеми моими правками. И я при первом же случае спросил Дворцова: «Николай Григорьевич, скажите, пожалуйста, если я «топчу рукописи», как вы утверждали, зачем же «растоптанную» рукопись, а не свой первый вариант, включили в книгу?»

И пошла губерния писать! Сгоряча наговорили друг другу с три короба. Так вот и пробежала между нами черная кошка. Обида не затаилась даже, а нарастала, как снежный ком, пущенный с горы, и овладела нами надолго. Мы избегали встреч, перестали здороваться, старались не замечать друг друга... Наверное, это было смешно, но скорее печально.

Шло время. А время иногда лечит человеческие недуги. Наверное, лечит... Так мне кажется.

Вхожу однажды в троллейбус и лицом к лицу сталкиваюсь с Дворцовым. Оба слегка опешили, растерялись — так давно не сходились один на один. Смотрю на него — и не вижу в его глазах какой-либо ненависти, обиды и злобы, думаю, и он в моих глазах ничего подобного не увидел. Минутное замешательство — и вдруг как будто что-то обоих толкнуло нас и сблизило снова, подали мы и пожали друг другу руки, Дворцов показался мне похudevшим, усталым и постаревшим. Я не знал еще тогда, что он уже был серьезно болен... «Ну, как живете, Николай Григорьевич? — спросил я. — Давно мы с вами не виделись, не разговаривали...» Он согласился: «Давно. А живу... как живу? — помедлив, сказал. — Двигаюсь вот потихоньку... к финишу. Чего уж теперь ждать...» Кажется, я сказал, что рано еще, что к финишу, в конце концов, мы все движемся...

Доехали до конечной остановки — тоже ведь «финиш», пожали друг другу руки и разошлись. Николай Григорьевич отправился на Старый базар, а я в архив на Большую Олонскую, в гости к Петру Антоновичу Бородкину. Оглянулись одновременно и помахали руками — и не только попрощались, но и простили друг другу все свои архиглупости, сняв камень с души. И легко стало.

Легко, как и сегодня, после всего сказанного о Николае Григорьевиче Дворцове, которого любил я как писателя, как человека, как старшего брата, — и это чувство братской любви осталось во мне навсегда.